

Новая газ. - 2003. - 11-13 авг. - с. 18-19.

Ингмар Бергман родился в пасторской семье 14 июля 1918 года, в воскресенье, что сулило удачу. Детские годы провел в Стокгольме и в провинции Даворна, а также в Усоле. Всемирная известность пришла к нему в 1956 году после фильма «Улыбки летней ночи». Всевозможные награды, три «Оскара», призы на фестивалях... Но его это мало волнует...

— Сегодня никто не помнит имен тех, кто построил Шартрский собор. На мой взгляд, для художника большое счастье — работать анонимно. Но, когда такую большую роль играют средства массовой информации, — не получается. Для многих это даже источник вдохновения и стимул. Для меня было бы лучше, если бы я был неизвестен.

— Но в ваших фильмах везде присутствует ваш собственный почерк. Зритель сам узнает автора — Бергмана.

— В том-то и дело. Я нахожусь в положении, в котором немисливо оставаться совершенно анонимным.

Кто я? Это всегда была проблемой, которую я пытался разрешить: кто я и откуда? Почему стал таким, какой есть?

— Теперь вы это лучше понимаете?

— Нет, хуже. Вернее сказать, не хуже, а меньше. Сейчас я знаю о себе меньше, чем знал десять лет назад.

Диалог с детством

— Но вы ведь сами говорили, что переняли кое-какие черты характера от своего отца. Например, авторитарность, вы сами это утверждали.

— Перенять — это значит делать что-то сознательно. А здесь нет ничего сознательного. Просто так получилось. Не думаю, что я так уж похож на своего отца. Напротив. Особенно когда я читаю дневники моей матери, мне кажется, я невероятно похож на мать...

Думаю, художественный талант (если о чем-то таком можно говорить, это так громко звучит) я унаследовал от матери.

Понимаете, моему брату нанесло непоправимый урон то воспитание, которое он получил. Он так и не смог оправиться. Я в общем-то получил такое же воспитание, как и брат. Но мне лучше, чем ему, удалось выстоять. Потому что он отвечал на это воспитание агрессией и попытками защититься. А я прибегал к лжи и притворству. Я представлял перед родителями таким, каким они хотели меня видеть. И пытался выяснять, как они будут реагировать.

К тому же я был отчаянным вруном. Я врал без зазрения совести. И за обман следовало жестокое наказание. Но проходило время, и я снова врал как ни в чем не бывало. Я знал, что это грех, за который полагается наказание, поэтому, естественно, считал себя негодяем. Но, с другой стороны, это был хороший способ защиты.

...Родители ничего не делали из злобы. В тех случаях, когда нас наказывали, они это делали, потому что их приводило в ужас поведение детей.

— Вы, должно быть, испытывали чувство освобождения, когда ушли из дома?

— Да, но к тому времени я уже пострадал, и эти раны долго не заживали. Все это повлияло на мою работу. Так что бесконечно долгий период жизни мне пришлось потратить, чтобы разобраться с плодами своего воспитания, попытаться сохранить все хорошее. Наш дом не был адом. Было и много выдумки, много радости и музыки. Мы могли приводить своих друзей, мы играли в театр. Это случилось, когда отец был в хорошем настроении. Но подчас он

(Печатается в сокращении.)

«Я был верным социал-демократом, пока не понял, что они пытаются меня прикончить»

впадал в депрессию. Он был невероятно требователен к себе. Мои родители были добрыми людьми.

Но то, как они нас воспитывали, особенно меня и брата, — это был ад. Эти страдания выпали на долю многих в моем поколении. Только эти люди не стали художниками. Они просто страдали. А потом сами торопились подавлять других.

...Если делать какие-то выводы, то можно сказать так: все мое творчество на самом деле основано на впечатлениях детства. Я могу буквально в мгновение перенестись туда. Я думаю, вообще все, что имеет какую-то ценность, уходит корнями в мое детство. И говоря диалектически, я никогда не порывал со своим детством, все время вел с ним диалог.

В 1944 году, будучи в возрасте двадцати пяти лет, Бергман, который уже успел сделать себе имя в Стокгольме, возглавил городской театр в Гельсинборге. Затем его карьера театрального режиссера продолжилась в Гетеборге и Мальмё. С января 1963 года ему была доверена главная сцена страны — Королевский драматический театр в Стокгольме. В то же время он много писал и ставил фильмы.

— У вас было очень много работы в кино, театре. Но ведь была еще другая жизнь. Как это сочеталось? Не быть педантом в обычной жизни и в то же время быть педантом в работе.

— Я жил очень просто. У меня было какое-то жильё, там стояла какая-то мебель. И потом, я очень часто женился. А значит, нужен был какой-то дом. Меня не слишком интересовало обустройство. Я мало что могу вспомнить из своей частной жизни. Если быть совершенно откровенным, чтобы вспомнить, когда произошло какое-то событие, я призываю на помощь фильмы или спектакли. Это было в то лето, когда я снимал «Улыбки». И тогда я понимаю: это был 1955 год. Или приблизительно так. Я не помню, когда родились мои дети, сколько им лет. Конечно, приблизительно я знаю, но не помню года их рождения, это наводит на размышления. Вы понимаете?

— Само понятие «дом» у вас было, ведь был дом, где прошло ваше детство. Но был ли дом, который имел значение, позднее?

— Нет. С моей четвертой женой, пианисткой, я принял героические усилия, чтобы создать собственный дом, с приличной обстановкой и даже соблюдением некоторых социальных ритуалов. Но очень скоро и это прошло.

— Вы не могли и никогда не писали свои сценарии дома?

— Я поселялся в каком-нибудь пансионате в Даллорне. Нет, дома я не работал, пока не купил дом на Форё. Это было тридцать лет назад. Я переехал туда и с тех пор никогда не писал нигде, кроме Форё.

Шведское общество

— Мне чрезвычайно нравилась здешняя социал-демократия, то, что люди с разными взглядами, капиталисты, социалисты, которые, грубо выражаясь, терпеть не могли друг друга, могли сесть за один стол и, пусть с трудом, в самых общих чертах, прийти к соглашению, которое они впоследствии выполняли. В меня это вселяло чувство удовлетворения. Эти трезвые компромиссы, эта честность. Но с тех пор утекло много крови.

— Чьей?

— Было много политических предательств. Кажется, это началось, когда к власти пришла политическая номенклатура. Выходцы из академических кругов утерли контакт со страной, который был у первых социал-демократов. Я был верным социал-демократом, пока не понял, что они пытаются меня прикончить — этой историей с налогами.

— Вы видите в этом заговор социал-демократов или виноваты чиновники?

— Считаю, это был результат безудержной жажды власти новой социал-демократии. Они позволяют себе делать практически все что угодно. И им позволяют.

30 января 1976 года Ингмара Бергмана прямо с театральной репетиции увезли на допрос в полицию в связи с уклонением от уплаты налогов. Позднее он был полностью оправдан.

Преследования и болезнь

— Я стал жертвой обстоятельств, которыми не мог управлять, которые мне были совершенно неподвластны. Так бывало несколько раз в моей жизни — она стала невыносимой, я не мог так больше жить.

— Вы могли себе представить, хотя бы предположить, что подвергнете себя психоанализу не в произведениях, а в иной форме?

— Нет, не думаю. Единственный раз это было в связи со скандалом с налогами. Я три недели провел в сумасшедшем доме. Я тогда желал только одного — прыгнуть с балкона. Но, правда, понимал, что это плохой выход. А потом все эти сильнейшие препараты, которые избавили меня от мук, от страдания, постепенно изменили мою личность. Я больше не узнавал себя. Я больше не слушал, читал книжки, много спал, я бродил по коридорам, разговаривал с другими сумасшедшими. Нам было довольно хорошо вместе. По вечерам мы смотрели маленький телевизор.

— И вас не пугало, что вы можете навсегда погрузиться в состояние инертности или отчаяния?

— Тогда я об этом даже не думал, это был инстинкт самосохранения. Потом меня просто-напросто спасла моя агрессивность. Потому что, когда новые власти ничего против меня не нашли там, где искали, они использовали другие приемы: шантаж и прочее. Тогда я так разозлился, что решил покинуть Швецию. Каким-то образом мое негодование послужило мне хорошей службой. Я был вне себя от злости. И это помогло мне поправиться.

— Других периодов, когда вы оказывались на грани, не было?

— Было что-то похожее, но не так, как в этом случае. Естественно, смерть жены нанесла удар моей воле к жизни, изменила мое существование, тот мир, в котором я жил. Но мое горе никогда не выливалось в гнев или

озлобление, или шизмизм, или что-то подобное. Я жил, замкнувшись в своем горе, как в комнате. Я будто стал инвалидом, который с трудом бредет по жизни. Я хочу сказать: мне уже за восемьдесят. Я живу день за днем. И мне все немного безразлично. Хотя есть то, что меня огорчает, и то, что меня радует...

— Вы думали, что остаток вашей активной жизни — работа в кино и театре — пройдет за границей?

— Я не мог оставаться в стране, где со мной хотели расправиться.

— Вы думали, что придется до конца дней жить вдали от родины?

— Мы уехали из Швеции в апреле. Я и Ингрид. И оказались в Париже. Потом я отправился в Лос-Анджелес на переговоры с Дино де Лаурентисом, с которым я собирался снять три картины.

— Прежде всего «Веселую вдову»?

— Да, но были и другие планы. Затем мы поехали в Копенгаген. А потом мне ужасно захотелось домой, в Швецию. Было лето, понимаете? И однажды вечером я заказал самолет, и мы с Ингрид полетели домой. Мы

— Вы не думали о законах драматургии?

— Нет, я вообще никогда о таком не думаю.

— Если вернуться еще дальше назад, скажем, к «Вечеру шутов» или «Тюрьме», — тогда вы тоже не думали?

— «Вечер шутов» — нет. А вот «Тюрьма» — да. Наверное, это было так, потому что мне тогда впервые дали написать собственный сценарий. Я чуть с ума не сошел от счастья и хотел вместить в него все, о чем давно раздумывал. В результате, при том что я совершенно к этому не стремился, он стал несколько странным.

— Вы как-то сказали, что, начиная писать, не знаете, что у вас получится...

— Верно-верно. Конечно, когда я начинаю писать героя, у меня есть что-то вроде главной сцены, исходной сцены. Я обычно говорил, что, когда начинал «Шепоты и крики», у меня была только одна сцена: четыре женщины в белом в красной комнате. Да, это была единственная сцена. А потом я начал думать: почему они там? Что говорят друг другу? И так далее... Там была тайна.

я начинал работать над фильмом «Индустрия», куда меня взяли штатным сценаристом в 1942 году. Тогда нам давали такие блокноты из желтой линованной бумаги и чернильные авторучки. С тех пор я пишу только в этих блокнотах. Двадцать лет назад или около того их перестали выпускать, и тогда им пришлось сделать во семьсот штук для меня. У меня еще кое-что осталось. Думаю, до смерти хватит.

Я не пишу какой попало шариковой ручкой. Это должна быть совершенно особая ручка — с очень крупным шариком. Сам процесс письма, хотя у меня очень неразборчивый почерк, доставляет мне удовольствие. Поскольку я пользуюсь одинаковыми блокнотами, то всегда знаю, сколько я написал. Проходит три часа, и даже если я в середине сцены, я заканчиваю работу. Творческий процесс — это процесс упорядочивания.

— Как, по-вашему, нет ли своего рода суеверия в этих блокнотах и ручках? В этих трех часах? Или это просто организация труда?

— Нет, это продуманный ритуал: встать пораньше, позавтракать и сходить на

Ингмар БЕРГМАН:

ДЕМОНОВ К ОБЩЕЙ

Великому режиссеру исполнилось 85 лет.

приехали на наш остров, сели на ступеньки и в теплых сумерках смотрели на кусты распутившейся сирени. На следующий день мы уехали в Мюнхен. Понимаете, здесь, в Швеции... Я прожил восемь лет за границей и совсем не работал. И мне не хватало не только родного языка, но и кустов сирени, то есть Швеции. Было удивительное чувство — вернуться домой и говорить по-шведски. Снова использовать в работе родной язык.

Ингмар Бергман написал сценарии ко всем своим почти пятидесяти фильмам для кино и телевидения и к семи фильмам, поставленным другими режиссерами. Кроме того, он шестьдесят лет проработал на драматической и оперной сцене, создав более ста двадцати спектаклей. Писал пьесы, снимал документальные фильмы. История кино не знает ничего подобного.

— В кино вы экспериментируете чаще, чем в театре.

— В фильмах требуется особая форма. Но я никогда не задумывался, экспериментировать я или нет. Это никогда не было сознательным решением.

— Что нужно, чтобы написать такой сценарий, как «Шепоты и крики»?

— Этот сценарий надо было писать именно так, а не иначе. Или «Персона», например. Или последний сценарий «Неверные». Их форма определяет, как снимать.

Эта сцена снова и снова возникала ко мне и не давала покоя. Да, вы знаете, как это бывает, когда начинаешь сматывать в клубок длинную нить, которая тянется откуда-то. Но она может оборваться, и тогда ничего не выйдет.

— У вас эта нить когда-нибудь рвалась?

— Да. Но не тогда, когда замысел уже перерождается в сценарий. Нет, когда я начинаю писать, не рвется. Когда сажусь писать и идет этап рабочих тетрадей, я пишу без конца и без начала, все подряд.

— Вы всегда так работали?

— Всегда. Но раньше не так много было времени, оно появилось теперь. Когда я был моложе, я должен был зарабатывать деньги для всех своих жен и детей. Мне часто приходилось, что называется, с ходу брать за сценарий. А теперь я могу валяться на диване, раздумывать над идеями и получать удовольствие от этого. Разглядывать картинки, собирать материал. Мои рабочие тетради никто, кроме меня, не может прочесть. Потом из множества рабочих записей что-то переносится на бумагу. Возникает сценарий.

— Вы можете себе представить, что пишете не от руки, а как-то иначе?

— Не пробовал.

— Дело в физических ощущениях?

— В письме что-то есть. Я использую особые блокноты. Такие выпускались, еще когда

прогулку. Не говорить по телефону, сесть за письменный стол. На столе должно быть тщательно прибрано. Вещи не должны лежать как попало. Я необыкновенно педантичен в том, что касается моего рабочего места.

Потом, просидев за столом сорок пять минут, я делаю перерыв. К тому времени у меня начинает болеть спина. Я встаю и около пятнадцати минут прохожусь по дому. Он длинной пятьдесят четыре метра. Или выхожу и смотрю на

Педантизм и педагогические вспышки гнева — это борьба с хаосом

море. Сажусь, пишу еще сорок пять минут. Если это рабочие тетради — это интересно. Это и есть сам творческий процесс. А написание сценария — это исполнение повинности.

— Это своего рода борьба?

— Борьба с беспорядком, с хаосом, с недостатком дисциплины.

— Но у вас достаточно дисциплины.

— Иначе у меня бы ни черта не вышло. Я все время веду постоянную борьбу с собой. Именно поэтому я стал так ужасно и для